

ВИКТОР

ПЕЛЕВИН

RELICS

Раннее  
и неизданное



«Relics. Раннее и неизданное» – сборник ранних произведений автора. Пелевин как всегда оригинален – не только в своем творчестве, но и в его преподнесении читателю: содержание книги повторяет хронологию событий, произошедших с Россией на стыке XX и XXI веков.

*Мы достаточно удалились от девяностых, чтобы разглядеть их без эффекта «лицом к лицу лица не увидеть». Поэтому в наши дни выходят фильмы-медитации вроде «Жмурок». Relics – своего рода «жмурки духа», ностальгическое воспоминание о времени малиновых пиджаков в суровую эпоху оранжевых галстуков. Книга составлена таким образом, чтобы ее содержание примерно соответствовало хронологии событий: как мы туда прибыли (для этого включены несколько совсем ранних рассказов), во что вляпались и куда после этого делись...*

*Эти тексты лежали не «в столе» – они публиковались в журналах и газетах, просто большая их часть не выходила в книжном формате. Многие гуляют по интернету в изувеченном виде, лучше издать их, наконец, по-человечески. Кроме того, там есть эссе, которые не печатались в России. А название я позаимствовал у своей любимой пластинки Pink Floyd.*

*В.О.Пелевин*

### **В сборник вошли произведения:**

- Психическая атака сонет
  - Колдун Игнат и люди
  - СССР Тайшоу Чжуань
  - Жизнь и приключения сарая номер XII
  - Водонапорная башня
  - Миттельшпиль
  - Музыка со столба
  - Откровение Крегера
  - Оружие возмездия
  - Бубен нижнего мира
  - Краткая история пэйнтбола в Москве
  - Нижняя тундра
  - Святочный киберпанк, или Рождественская ночь-117.DIR
  - Time out
  - Греческий вариант
  - Who by fire
  - Икслан – Петушки
  - ГКЧП как тетраграмматон
  - Зомбификация Опыт сравнительной антропологии
  - Джон Фаулз и трагедия русского либерализма
  - Имена олигархов на карте Родины
  - Мост, который я хотел перейти
-

**Виктор Пелевин**

**Relics. Раннее и неизданное**

# Психическая атака

## сонет

«Я вывожу страниц своих войска...»

*В. Маяковский*

\$\$\$\$ \$\$ \$\$\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$\$\$\$\$ \$\$\$  
\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$  
\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$ \$\$\$  
\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$

\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$  
\$ \$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$  
\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$  
\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$

\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$  
\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$  
\$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$

\$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$ \$\$  
\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$ \$\$\$\$  
\$\$\$ \$\$\$\$ \$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$\$ \$\$\$

*Петр Пустота*

# Колдун Игнат и люди

4 мая 1912 года к колдуну Игнату пришел в гости протоиерей Арсеникум. Пока Игнат хлопотал с самоваром и доставал пряники, гость сморкался у вешалки, долго снимал калоши, крестился и вздыхал. Потом он сел на краешек табурета, достал из-под рясы папку красного картона, раскрыл и развязно сказал Игнату:

– Глянь-ка, чего я понаписал!

– Интересно, – сказал Игнат, беря первый лист, – вслух читать?

– Что ты! – испуганно зашипел протоиерей. – Про себя!

Игнат стал читать:

## ОТКРОВЕНИЕ СВ. ФЕОКТИСТА

*«Люди! – сказал св. Феоктист, потрясая узловатым посохом. – Христос явился мне, истинно так. Он велел пойти к вам и извиниться. Ничего не вышло».*

– Ха-ха-ха! – засмеялся Игнат, а сам подумал: «Неспроста это». Но виду не подал.

– А есть еще? – спросил он вместо этого.

– Ага!

Протоиерей дал Игнату новый листок и тот прочел:

## КАК МИХАИЛ ИВАНЫЧ С УМА СОШЕЛ И УМЕР

*«Куда бы я ни пошел, – подумал Михаил Иванович, с удивлением садясь на диван, – везде обязательно оказывается хоть один сумасшедший. Но вот, наконец, я в одиночестве...»*

«Да и потом, – продолжал Михаил Иванович, с удивлением поворачиваясь к окну, – где бы я ни оказался, везде обязательно присутствовал хоть один мертвец. Но вот я один, слава богу...»

«Настало время, – сказал себе Михаил Иванович, с удивлением открывая ставень, – подумать о главном...»

«Нет, точно, неспроста это», – решил Игнат, но виду опять не подал и вместо этого сказал:

– Интересно. Только не очень понятна главная мысль.

– Очень просто, – ответил протоиерей, нахально подмигивая, – дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима.

«Нет, – подумал Игнат, – что-то он определенно крутит».

– А вот еще, – весело сказал протоиерей, и Игнат прочел:

## РАССКАЗ О ТАРАКАНЕ ЖУ

*Таракан Жу несгибаемо движется навстречу смерти. Вот лежит яд. Нужно остановиться и повернуть в сторону.*

*«Успел. Смерть впереди», – отмечает таракан Жу.*

*Вот льется кипяток. Нужно увернуться и убежать под стол.*

*«Успел. Смерть впереди», – отмечает таракан Жу.*

*Вот в небе появляется каблук и, вырастая, несется к земле. Увернуться уже нельзя.*

*«Смерть», – отмечает таракан Жу.*

Игнат поднял голову. Вошли какие-то мужики в овчинах, пряча за спины ржавые большие топоры.

– Дверь отпер... Понятно. То-то я думал – долго ты раздеваешься, – сказал Игнат.

Протоиерей с достоинством расправил бороду.

– Чего вам надо, а? – строго спросил Игнат мужиков.

– Вот, – стесняясь и переминаясь с ноги на ногу, отвечали мужики, – убить тебя думаем.

Всем миром решили. Мир завсегда колдунов убивает.

«Мир, мир... – с грустью подумал Игнат, растворяясь в воздухе, – мир сам давно убит своими собственными колдунами».

– Тьфу ты, – сплюнул протоиерей и перекрестился. – Опять не вышло...

– Так-то разве убьешь, – сказал кто-то из мужиков, сморкаясь в рукав. – Икону надоть.

Как известно, наша Вселенная находится в чайнике некоего Люй Дунбиня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньани. Но вот что интересно: Чаньани уже несколько столетий как нет, Люй Дунбинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплюснулся в лепешку под землей. Этому странному несоответствию – тому, что Вселенная еще существует, а ее вместилище уже погибло – можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение: еще когда Люй Дунбинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньани, зарастала травой его собственная могила, люди запускали в космос ракеты, выигрывали и проигрывали войны, строили телескопы и танкостроительные...

Стоп... Отсюда и начнем. Чжана Седьмого в детстве звали Красной Звездочкой. А потом он вырос и пошел работать в коммуну.

У крестьянина ведь какая жизнь? Известно какая. Вот и Чжан – приуныл и запил без удержу. Так, что даже потерял счет времени. Напившись с утра, он прятался в пустой рисовый амбар на своем дворе, чтобы не заметил председатель, Фу Юйши, по прозвищу Медный Ангельс. (Так его звали за большую политическую грамотность и физическую силу.) А прятался Чжан потому, что Медный Ангельс часто обвинял пьяных в каких-то непонятных вещах – в конформизме, перерождении – и заставлял их работать бесплатно. Спорить с ним боялись, потому что это он называл контрреволюционным выступлением и саботажем, а контрреволюционных саботажников положено было отправлять в город.

В то утро, как обычно, Чжан и все остальные валялись пьяные по своим амбарам, а Медный Ангельс ездил на ослике по пустынным улицам, ища, кого бы послать на работу. Чжану было совсем худо, он лежал животом на земле, накрыв голову пустым мешком из-под риса. По его лицу ползло несколько муравьев, а один даже заполз в ухо, но Чжан не мог пошевелить рукой, чтобы раздавить их, такое было похмелье. Вдруг издалека – от самого ямыня партии, где был репродуктор, – донеслись радиосигналы точного времени. Семь раз прогудел гонг, и тут...

Не то Чжану примерещилось, не то вправду: к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли два толстых чиновника в темных одеждах, с квадратными ушами и значками в виде красных флажков, а в глубине машины остался еще один, с золотой звездой на груди и с усами, как у креветки. Он обмахивался красной папкой. Первые двое взмахнули рукавами и вошли в амбар. Чжан откинул с головы мешок и, ничего не понимая, уставился на гостей.

Один из них приблизился к Чжану, три раза поцеловал его в губы и сказал:

– Мы прибыли из далекой земли СССР. Наш Сын Хлеба много слышал о ваших талантах и справедливости и вот приглашает вас к себе.

Чжан и не слышал никогда о такой стране. «Неужто, – подумал он, – Медный Ангельс на меня донос сделал, и это меня за саботаж забирают? Говорят, они при этом любят придуриваться...»

От страха Чжан аж вспотел.

– А вы сами-то кто? – спросил он.

– Мы – референты, – ответили незнакомцы, взяли Чжана за рубаху и штаны, кинули на

заднее сиденье и сели по бокам. Чжан попробовал было вырваться, но так получил по ребрам, что сразу покорился. Шофер завел мотор, и машина тронулась.

Странная была поездка. Сначала вроде ехали по знакомой дороге, а потом вдруг свернули в лес и словно нырнули в какую-то яму. Машину тряхнуло, и Чжан зажмурился, а когда открыл глаза – увидел, что едет по широкому шоссе, по бокам которого стоят косые домики с антеннами, бродят коровы, и висят плакаты с мясистыми лицами правителей древности и надписями, сделанными старинным головастиковым письмом. Все это как бы смыкалось над головой, и казалось, что дорога идет внутри огромной пустой трубы. «Как в стволе у пушки», – почему-то подумал Чжан.

Удивительно – всю жизнь он провел в своей деревне и даже не знал, что рядом есть такие места. Стало ясно, что они едут не в город, и Чжан успокоился.

Дорога оказалась долгой. Через пару часов Чжан стал клевать носом, а потом и вовсе заснул. Ему приснилось, что Медный Энгельс утерял партбилет и он, Чжан, назначен председателем коммуны вместо него и вот идет по безлюдной пыльной улице, ища, кого бы послать на работу. Подойдя к своему дому, он подумал: «А что, Чжан-то Седьмой небось лежит в амбаре пьяный... Дай-ка зайду посмотрю».

Вроде бы он помнил, что Чжан Седьмой – это он сам, и все равно – пришла в голову такая мысль. Чжан очень этому удивился – даже во сне, – но решил, что раз его сделали председателем, то перед этим он, наверное, изучил искусство партийной бдительности, и это он и есть.

Он дошел до амбара, приоткрыл дверь и видит: точно. Спит в углу, а на голове – мешок. «Ну подожди», – подумал Чжан, поднял с пола недопитую бутылку пива и вылил прямо на накрытый мешком затылок.

И тут вдруг над головой что-то загудело, завывало, застучало – Чжан замахал руками и проснулся.

Оказалось, это на крыше машины включили какую-то штуку, которая вертелась, мигала и выла. Теперь все машины и люди впереди стали уступать дорогу, а стражники с полосатыми жезлами – отдавать честь. Двое спутников Чжана даже покраснели от удовольствия.

Чжан опять задремал, а когда проснулся, было уже темно, машина стояла на красивой площади в незнакомом городе, и вокруг толпились люди; близко их, однако, не подпускал наряд стражников в черных шапках.

– Что же, надо бы к трудящимся выйти, – с улыбкой сказал Чжану один из спутников.

Чжан заметил, что чем дальше они отъезжали от его деревни, тем вежливее вели себя с ним эти двое.

– Где мы? – спросил Чжан.

– Это Пушкинская площадь города Москвы, – ответил референт и показал на тяжелую металлическую фигуру, отчетливо видную в лучах прожекторов рядом с блестящим и рассыпающимся в воздухе столбом воды; над памятником и фонтаном неслись по небу горящие слова и цифры.

Чжан вылез из машины. Несколько прожекторов осветили толпу, и он увидел над головами огромные плакаты:

«Привет товарищу Колбасному от трудящихся Москвы!»

Еще над толпой мелькали его собственные портреты на шестах. Чжан вдруг заметил, что без труда читает головастиковое письмо и даже не понимает, почему это его называли головастиковым, но не успел этому удивиться, потому что к нему сквозь милицейский кордон протиснулась небольшая группа людей: две женщины в красных, до асфальта, сарафанах, с жестяными полукругами на головах, и двое мужчин в военной форме с укороченными

балалайками. Чжан понял, что это и есть трудящиеся. Они несли перед собой что-то темное, маленькое и круглое, похожее на переднее колесо от трактора «Шанхай». Один из референтов прошептал Чжану на ухо, что это так называемый хлеб-соль. Слушаясь его же указаний, Чжан бросил в рот кусочек хлеба и поцеловал одну из девушек в нарумяненную щеку, поцарапав лоб о жестяной кокошник.

Тут грянул оркестр милиции, игравший на странной форме цинах и юях, и площадь закричала:

– У-ррр-аааа!!!

Правда, некоторые кричали, что надо бить каких-то жидов, но Чжан не знал местных обычаев и на всякий случай не стал про это расспрашивать.

– А кто такой товарищ Колбасный? – поинтересовался он, когда площадь осталась позади.

– Это вы теперь – товарищ Колбасный, – ответил референт.

– Почему это? – спросил Чжан.

– Так решил Сын Хлеба, – ответил референт. – В стране не хватает мяса, и наш повелитель полагает, что, если у его наместника будет такая фамилия, трудящиеся успокоятся.

– А что с прошлым наместником? – спросил Чжан.

– Прошлый наместник, – ответил референт, – похож был на свинью, его часто показывали по телевизору, и трудящиеся на время забывали, что мяса не хватает. Но потом Сын Хлеба узнал, что наместник скрывает, что ему давно отрубили голову, и пользуется услугами мага.

– А как же его тогда показывали по телевизору, если у него голова была отрублена? – спросил Чжан.

– Вот это и было самым обидным для трудящихся, – ответил референт и замолчал.

Чжан хотел было спросить, что было дальше и почему это референты все время называют людей трудящимися, но не решился – побоялся попасть впросак.

Скоро машина остановилась у большого кирпичного дома.

– Здесь вы будете жить, товарищ Колбасный, – сказал кто-то из референтов.

Чжана провели в квартиру, которая была убрана роскошно и дорого, но с первого взгляда вызвала у Чжана нехорошее чувство. Вроде бы и комнаты были просторные, и окна большие, и мебель красивая, но все это было каким-то ненастоящим, отдавало какой-то чертовщиной: хлопни, казалось, в ладоши посильнее, и все исчезнет.

Но тут референты сняли пиджаки, на столе появилась водка и мясные закуски, и через несколько минут Чжану сам черт стал не брат.

Потом референты засучили рукава, один из них взял гитару и заиграл, а другой запел приятным голосом:

– Мы – дети Галактики, но – самое главное,  
Мы – дети твои, дорогая Земля!

Чжан не очень понял, чьи они дети, но они нравились ему все больше и больше. Они ловко жонглировали и кувыркались, а когда Чжан хлопал в ладоши, читали свободолюбивые стихи и пели красивые песни про то, как хорошо лежать ночью у костра и глядеть на звездное небо, про строгую мужскую дружбу и красоту молоденьких певичек. Еще была там одна песня про что-то непонятное, от чего у Чжана сжалось сердце.

Когда Чжан проснулся, было утро. Один из референтов тряс его за плечо. Чжану стало стыдно, когда он увидел, в каком виде спал, тем более что референты были свежими и умытыми.

– Прибыл Первый Заместитель! – сказал один из них.

Чжан увидел, что его латаная синяя куртка куда-то пропала; вместо нее на стуле висел серый пиджак с красным флажком на лацкане. Он стал торопливо одеваться и как раз кончил завязывать галстук, когда в комнату ввели невысокого человека в благородных седирах.

– Товарищ Колбасный! – возвестил он. – Основа колеса – спицы; основа порядка в Поднебесной – кадры; надежность колеса зависит от пустоты между спицами, а кадры решают все. Сын Хлеба слышал о вас как о благородном и просвещенном муже и хочет пожаловать вам высокую должность.

– Смею ли мечтать о такой чести? – отозвался Чжан, с трудом сдерживая икоту.

Первый Заместитель пригласил его за собой. Они спустились вниз, сели в черную машину и поехали по улице, которая называлась «Большая Бронная». И вот они оказались у дома вроде того, где Чжан провел ночь, только в несколько раз больше. Вокруг дома был большой парк.

Первый Заместитель пошел по узкой дорожке впереди; Чжан двинулся за ним, слушая, как спешащий сзади референт играет на маленькой флейте в форме авторучки.

Светила луна. По пруду плавали удивительной красоты черные лебеди, про которых Чжану сказали, что все они на самом деле заколдованные воины КГБ. За тополями и ивами прятались десантники, переодетые морской пехотой. В кустах залегла морская пехота, переодетая десанниками. А у самого входа в дом несколько старушек с лавки мужскими голосами велели им остановиться и лечь на землю, сложив руки на затылке.

Внутри пустили только Первого Заместителя и Чжана. Они долго шли по каким-то коридорам и лестницам, на которых играли веселые нарядные дети, и наконец приблизились к высоким инкрустированным дверям, у которых на часах стояли два космонавта с огнеметами.

Чжан был перепуган и подавлен таким величием. Первый Заместитель открыл тяжелую дверь и сказал Чжану:

– Прошу.

Чжан услышал негромкую музыку и на цыпочках вошел внутрь. Он оказался в просторной светлой комнате, окна которой были распахнуты в небо, а в самом центре, за белым роялем, [11](#) сидел Сын Хлеба, весь в хлебных колосьях и золотых звездах. Сразу было видно, что это человек необыкновенный. Рядом с ним стоял большой металлический шкаф, к которому он был присоединен несколькими шлангами; в шкафу что-то тихонько булькало. Сын Хлеба глядел на вошедших, но, казалось, не видел их; влетающий в окна ветер шевелил его седые волосы.

На самом деле он, конечно, все видел – через минуту он убрал руки с рояля, милостиво улыбнулся и сказал:

– С целью укрепления...

Говорил он невнятно и как бы задыхаясь, и Чжан понял только, что будет теперь очень важным чиновником. Потом состоялся обед. Так вкусно Чжан никогда еще не ел. Сам Сын Хлеба не положил себе в рот ни кусочка. Вместо этого референты открыли в шкафу дверцу, бросили туда несколько лопат икры и вылили бутылку пшеничного вина. Чжан никогда бы не подумал, что такое бывает. После обеда они с Первым Заместителем поблагодарили правителя СССР и вышли.

Его отвезли домой, а вечером состоялся торжественный концерт, где Чжана усадили в самом первом ряду. Концерт был величественным зрелищем. Все номера удивляли количеством участников и слаженностью их действий. Особенно Чжану понравился детский патриотический танец «Мой тяжелый пулемет» и «Песня о триединой задаче» в исполнении государственного хора. Вот только при исполнении этой песни на солиста навели зеленый прожектор, и лицо у него стало совсем трупным; но Чжан не знал всех местных обычаев. Поэтому он и не стал ни о чем спрашивать своих референтов.

Утром, проезжая по городу, Чжан увидел из окна машины длинные толпы народа. Референт объяснил, что все эти люди вышли проголосовать за Ивана Семеновича Колбасного – то есть за него, Чжана. А в свежей газете Чжан увидел свой портрет и биографию, где было сказано, что у него высшее образование и раньше он находился на дипломатической работе.

Вот так, в восемнадцатом году правления под девизом «Эффективность и качество», Чжан Седьмой стал важным чиновником в стране СССР.

Потянулась новая жизнь. Дел у Чжана не было никаких, никто ни о чем его не спрашивал и ничего от него не хотел. Иногда только его призывали в один из московских дворцов, где он молча сидел в президиуме во время исполнения какой-нибудь песни или танца; сначала он очень смущался, что на него глядит столько народа, а потом подсмотрел, как ведут себя другие, и стал поступать так же – закрывать пол-лица ладонью и вдумчиво кивать в самых неожиданных местах.

Появились у него лихие дружки: народные артисты, академики и генеральные директора, умелые в боевых искусствах. Сам Чжан стал Победителем Социалистического Соревнования и Героем Социалистического Труда. С утра они всей компанией напивались и шли в Большой театр безобразничать с тамошними певичками и певцами – правда, если там гулял кто-нибудь более важный, чем Чжан, им приходилось поворачивать. Тогда они вваливались в какой-нибудь ресторан, и если простой народ или даже служилые люди видели на дверях табличку «Спецобслуживание», они сразу понимали, что там веселится Чжан со своей компанией, и обходили это место стороной.

Еще Чжан любил выезжать в ботанический сад любоваться цветами; тогда, чтобы не мешали простолюдины, сад оцепляли телохранители Чжана.

Трудящиеся очень уважали и боялись Чжана; они присылали ему тысячи писем, жалуясь на несправедливость и прося помочь в самых разных делах. Чжан иногда выдергивал из стопки какое-нибудь письмо наугад и помогал – из-за этого о нем шла добрая слава.

Что больше всего нравилось Чжану, так это не бесплатная кормежка и выпивка, не все его особняки и любовницы, а здешний народ, трудящиеся. Они были работающие и скромные, с пониманием; Чжан мог, например, давить их, сколько хотел, колесами своего огромного черного лимузина, и все, кому случалось быть при этом на улице, отворачивались, зная, что это не их дело, а для них главное – не опоздать на работу. А уж беззаветные были – прямо как муравьи. Чжан даже написал в главную газету статью: «С этим народом можно делать что угодно», и ее напечатали, чуть изменив заголовок: «С таким народом можно творить великие дела». Примерно это Чжан и хотел сказать.

Сын Хлеба очень любил Чжана. Часто вызывал его к себе и что-то бубнил, только Чжан не понимал ни слова. В шкафу что-то булькало и урчало, и Сын Хлеба с каждым днем выглядел все хуже. Чжану было очень его жаль, но помочь ему он никак не мог.

Однажды, когда Чжан отдыхал в своем подмосковном поместье, пришла весть о смерти Сына Хлеба. Чжан перепугался и подумал, что его теперь непременно схватят. Он хотел уже было удавиться, но слуги уговорили его повременить. И правда, ничего страшного не случилось. Наоборот, ему дали еще одну должность: теперь он возглавил всю рыбную ловлю в стране. Несколько друзей Чжана арестовали, и установилось новое правление под девизом «Обновление истоков». В эти дни Чжан так перенервничал, что начисто забыл, откуда он родом, и сам стал верить, что находился раньше на дипломатической работе, а не пьянствовал дни и ночи напролет в маленькой глухой деревушке.

В восьмом году правления под девизом «Письма трудящихся» Чжан стал заместителем Москвы. А в третьем году правления под девизом «Сияние истины» он женился, взяв за себя красавицу дочь несметно богатого академика; была она изящной, как куколка, прочла много

книг и знала танцы и музыку. Вскоре она родила ему двух сыновей.

Шли годы, правитель сменял правителя, а Чжан все набирал силу. Постепенно вокруг него сплотилось много преданных чиновников и военных, и они стали тихонько поговаривать, что Чжану пора взять власть в свои руки. И вот однажды утром свершилось.

Теперь Чжан узнал тайну белого рояля. Главной обязанностью Сына Хлеба было сидеть за ним и наигрывать какую-нибудь несложную мелодию. Считалось, что при этом он задает исходную гармонию, в соответствии с которой строится все остальное управление страной. Правители, понял Чжан, различались между собой тем, какие мелодии они знали. Сам он хорошо помнил только «Собачий вальс» и большей частью наигрывал именно его. Однажды он попробовал сыграть «Лунную сонату», но несколько раз ошибся, и на следующий день на Крайнем Севере началось восстание племен, и на юге произошло землетрясение, при котором, слава Богу, никто не погиб. Зато с восстанием пришлось повозиться: мятежники под черными знаменами с желтым кругом посередине пять дней сражались с ударной десантной дивизией «Братья Карамазовы», пока не были перебиты все до одного.

С тех пор Чжан не рисковал и играл только «Собачий вальс» – зато его он мог исполнять как угодно: с закрытыми глазами, спиной к роялю и даже лежа на нем животом. В секретном ящике под роялем он нашел сборник мелодий, составленный правителями древности. По вечерам он часто листал его. Он узнал, например, что в тот самый день, когда правитель Хрущев исполнял мелодию «Полет шмеля», над страной был сбит вражий самолет. Ноты многих мелодий были замазаны черной краской, и уже нельзя было узнать, что играли правители тех лет.

Теперь Чжан стал самым могущественным человеком в стране. Девизом своего правления он выбрал слова: «Великое умиротворение». Жена Чжана строила новые дворцы, сыновья росли, народ процветал, но сам Чжан часто бывал печален. Хоть и не существовало удовольствия, которого он бы не испытал, но и многие заботы подтачивали его сердце. Он стал сидеть и все хуже слышал левым ухом.

По вечерам Чжан переодевался интеллигентом и бродил по городу, слушая, что говорит народ. Во время своих прогулок стал он замечать, что, как он ни плутай, все равно выходит на одни и те же улицы. У них были какие-то странные названия: «Малая Бронная», «Большая Бронная» – эти, например, были в центре, а самая отдаленная улица, на которую однажды забрел Чжан, называлась «Шарикоподшипниковская».

Где-то дальше, говорили, был Пулеметный бульвар, а еще дальше – первый и второй Гусеничные проезды. Но там Чжан никогда не бывал. Переодевшись, он или пил в ресторанах у Пушкинской площади, или заезжал на улицу Радио к своей любовнице и вез ее в тайные продовольственные лавки на Трупной площади. (Так она на самом деле называлась, но чтобы не пугать трудящихся, на всех вывесках вместо буквы «п» была буква «б».) Любовница – молоденькая балерина – радовалась при этом, как девочка, и у Чжана становилось полегче на душе, а через минуту они уже оказывались на Большой Бронной.

И вот с некоторых пор такая странная замкнутость окружающего мира стала настораживать Чжана. Нет, были, конечно, и другие улицы и вроде бы даже другие города и провинции – но Чжан, как давний член высшего руководства, отлично знал, что они существуют в основном в пустых промежутках между теми улицами, на которые он все время выходил во время своих прогулок, и как бы для отвода глаз.

А Чжан, хоть и правил страной уже одиннадцать лет, все-таки был человек честный, и очень ему странно было произносить речи про какие-то поля и просторы, когда он помнил, что и большинства улиц в Москве, можно считать, на самом деле нету.

Однажды днем он собрал руководство и сказал:

– Товарищи! Ведь мы все знаем, что у нас в Москве только несколько улиц настоящих, а остальных почти не существует. А уж дальше, за Окружной дорогой, вообще непонятно что начинается. Зачем же тогда...

Не успел он договорить, как все вокруг закричали, вскочили с мест и сразу проголосовали за то, чтобы снять Чжана со всех постов. А как только это сделали, новый Сын Хлеба влез на стол и закричал:

– А ну, завязать ему рот и...

– Позвольте хоть проститься с женой и детьми! – взмолился Чжан.

Но его словно никто не слышал: связали по рукам и ногам, заткнули рот и бросили в машину.

Дальше все было как обычно – отвезли его в Китайский проезд, остановились прямо посреди дороги, открыли люк в асфальте и кинули туда вниз головой.

Чжан обо что-то ударился затылком и потерял сознание.

А когда открыл глаза – увидел, что лежит в своем амбаре на полу. Тут из-за стены дважды донесся далекий звук гонга, и женский голос сказал:

– Пекинское время девять часов...

Чжан провел рукой по лбу, вскочил и, шатаясь, выбежал на улицу. А тут из-за угла как раз выехал на ослике Медный Энгельс. Чжан сдуру побежал, и Медный Энгельс со звонким цоканьем поскакал за ним мимо молчащих домов с опущенными ставнями и запертыми воротами; на деревенской площади он настиг Чжана, обвинил его в чжунгофобии и послал на сортировку грибов мозр.

Вернувшись через три года домой, Чжан первым делом пошел осматривать амбар. С одной стороны его стена упиралась в забор, за которым была огромная куча мусора, копившегося на этом месте, сколько Чжан себя помнил. По ней ползали большие рыжие муравьи.

Чжан взял лопату и стал копать. Несколько раз воткнул ее в кучу, и она ударила о железо. Оказалось, что под мусором – японский танк, оставшийся со времен войны. Стоял он в таком месте, что с одной стороны был заслонен амбаром, а с другой – забором, и был скрыт от взглядов, так что Чжан мог спокойно раскапывать его, не боясь, что кто-то это увидит, тем более что все лежали по домам пьяные.

Когда Чжан открыл люк, ему в лицо пахнуло кислым запахом. Оказалось, что там большой муравейник. Еще в башне были останки танкиста.

Приглядевшись, Чжан стал кое-что узнавать. Возле казенника пушки на позеленевшей цепочке висела маленькая бронзовая фигурка-брелок. Рядом, под смотровой щелью, была лужица – туда во время дождей капала протекающая вода. Чжан узнал Пушкинскую площадь, памятник и фонтан. Мятая банка от американских консервов была рестораном «Макдональдс», а пробка от кока-колы – той самой рекламой, на которую Чжан подолгу, бывало, глядел, сжимая кулаки, из окна своего лимузина. Все это не так давно выбросили проезжавшие через деревню американские туристы.

Мертвый танкист почему-то был не в шлеме, а в съехавшей на ухо пилотке; так вот, кокарда на этой пилотке очень напоминала купол кинотеатра «Мир». А на остатках щек у трупа были длинные бакенбарды, по которым ползало много муравьев с личинками, – глянув на них, Чжан узнал два бульвара, сходящихся у Трупной площади. Узнал он и многие улицы: Большая Бронная – это была лобовая броня, а Малая Бронная – бортовая.

Из танка торчала ржавая антенна; Чжан догадался, что это Останкинская телебашня. Само Останкино было трупом стрелка-радиста. А водитель, видимо, спасся.

Взяв длинную палку, Чжан поковырял в муравейной куче и отыскал матку – там, где в

Москве проходила Мантулинская улица и куда никогда никого не пускали. Отыскал Чжан и Жуковку, где были самые важные дачи, – это была большая жучья нора, в которой копошились толстые муравьи длиной в три цуня каждый. А окружная дорога – это был круг, на котором вращалась башня.

Чжан подумал, вспомнил, как его вязали и бросали головой вниз в колодец, и в нем проснулась не то злоба, не то обида; в общем, развел он хлорку в двух ведрах да и вылил ее в люк.

Потом он захлопнул люк и забросал танк землей и мусором, как было. И скоро совсем позабыл обо всей этой истории. У крестьянина ведь какая жизнь? Известно.

Чтобы его не обвинили в том, будто он оруженосец японского милитаризма, Чжан никогда никому не рассказывал, что у него возле дома японский танк.

Мне же эту историю он поведал через много лет, в поезде, где мы случайно встретились. Она показалась мне правдивой, и я решил ее записать.

Пусть все это послужит уроком для тех, кто хочет вознестись к власти; ведь если вся наша Вселенная находится в чайнике Люй Дунбиня, что же такое тогда страна, где побывал Чжан! Провел там лишь миг, а показалось – прошла жизнь. Прошел путь от пленника до правителя, а оказалось – переполз из одной норки в другую. Чудеса, да и только. Недаром товарищ Ли Чжао из Хуачжоуского крайкома партии сказал: «Знатность, богатство, высокий чин, могущество и власть, способные сокрушить государство, в глазах мудрого мужа немногим отличны от муравьиной кучи».

По-моему, это так же верно, как и то, что Китай на севере доходит до Ледовитого океана, а на западе – до Франкобритании.

*Со Лу-Тан*

# Жизнь и приключения сарая номер XII

В начале было слово, и даже, наверное, не одно – но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнувшие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали желтыми гранями солнце; находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее, – представляя все это, он замечал, что скорей домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте.

Место, правда, было не из лучших – задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, – но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, – но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе под солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки; депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе долговечных следов.

Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах; в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час весь сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу; это стало первой реальной вехой в его памяти – до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья.

В ночь после окраски, получив черную римскую цифру – имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу.

«Где я, – думал он, – кто я?»

Сверху было темное небо, потом он, а внутри стояли новенькие велосипеды; на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной – это было так чудесно – и в его душе. На полках лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, – тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или по меньшей мере гаражом.

Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало – то есть он сам, – складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью; из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча; из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него – какое-то решающее чувство, и все они, сливаясь, образовывали новое единство, огражденное в пространстве свежеевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем; это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна... С тех пор по-настоящему и началась его жизнь.

Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда, в жаркий летний день, когда мир вокруг затихал, он тайно отождествлял себя то со складной «Камой», то со «Спутником» и испытывал два разных вида полного счастья.

В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, пропетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, через поле – прямо в оранжевое небо над горизонтом; можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там вечер – вообще, можно было почти все.

Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно, и заключается в экстатическом единении с архетипом гаража, – как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости?

– Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? – спросил он как-то.

– Другого пути нет, – отвечал гараж, – тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя все же больше шансов, чем у конуры или табачного киоска.

– А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? – высказал Номер XII свое сокровенное.

– Ну что же, чувствуй. Запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых – предел, и ничего с этим не поделаешь, – сказал гараж.

– А чего это у тебя мелом на боку написано? – переменял тему Номер XII.

– Не твое дело, говно фанерное, – ответил гараж с неожиданной злобой.

Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды – кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве.

Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет – с этим можно было бы смириться. Дело заключалось в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, где жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы – но определяющим все главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых полиэтиленом огромных бочках. Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал: «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», – вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен; во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира.

Но день кончался, свет мерк, Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной

автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно.

Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое: хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление – скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине; она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим.

Номер XII задумался, а люди между тем говорили:

– Ну что, полки снять, и хорошо, хорошо...

– Сарай – первый сорт, – отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды. – Не протекает, ничего. А цвет-то какой!

Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе.

Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью – потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных памятью образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство, – так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номеру XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня; но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда.

Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов, – такое было впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла, а хозяин еще копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад.

Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь.

Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь; и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы составить его, Номера XII, индивидуальность, вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать.

Утром он заметил в себе перемену – его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, и поэтому Номер XII теперь сильно напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Все заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц.

Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII почувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх.

По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности.

Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза

воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый его центр, потерявший сознание Номер XII не видел.

Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы велосипедов, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала; ее мысли теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им.

Номера 13 и 14 теперь не пугали его, наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью – оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал во всем на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой, где-то в нем скрывались чувства. Сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин.

Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся – элементарный возрастной перелом.

– Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, – говорил Номер 13, – совсем новые проблемы наполняют душу.

И добавлял ободряюще:

– Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва.

Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что если прекрасное заключено в гармонии («Это раз», – говорил он), а внутри – и это объективно – находятся огурцы или капуста («Это два»), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и в устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал; он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал.

Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе; чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел.

Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое все реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя: в виде теплохода, плывающего в завтра.

Он стал чувствовать присущую своей бочке своеобразную доброту – но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей.

Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное, в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь из недавно построенных рядом будок содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость... Ничего, перебесится – поймет...» Несколько

подобных трансформаций произошло на его глазах, и это подтвердило его правоту лишней раз. Испытывал он и ненависть – когда в мире появлялось что-то ненужное; слава Богу, так случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится.

Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаясь понять, о чем это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее.

В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило – Номер XII вдруг все вспомнил.

Велосипед.

Шоссе.

Закат.

Мост над рекой.

Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой – действительно собой. Все, связанное с бочкой, отпало, как сухая корка; он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени – надо было спешить, потому что он знал, что проклятая бочка, если он не успеет сделать задуманного, опять подчинит его и сделает собой.

Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного оупения: раньше он думал, что это его оупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного.

Под выступом крыши шли два электрических провода. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на них, используя какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на время он просто перестал существовать. Но дело было сделано – провода коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка, и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути препятствий, стал расти и подползать к крыше.

Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна – ей помогли Номера 13 и 14, которые думали о нем снаружи.

«Очевидно, – со странной отрешенностью подумал Номер XII, – для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим...» Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Однако шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх,

принадлежавший бочке, – такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбиравшийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в своей памяти день, когда его покрасили, а главное – ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Сбоку уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.

Директор семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи – в общем, выгорело все, что могло гореть. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого – по несколько обгорелых досок.

Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли, как бандиты. Директор остановилась и поглядела назад – не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась: кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.

В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» – подумала директор и крепче вжалась в дерево. Но шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь – велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция – он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, – но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, директор вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.

Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв... Впрочем, Бог с ней.

# Водонапорная башня

Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начнется все остальное, потому что предметы появляются тогда, когда становятся известны их названия, и происходящее за окном сразу приобретает смысл – солдаты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом цифру «1928» на толстой верхней части каменного цилиндра, и даже не догадываются, что кто-то следит за тем, что они делают, думая об этом почти без помощи слов, но очень серьезно: любая башня или даже труба сначала строится таким образом, будто должна подняться до самого неба, чем обязательно завершилось бы простое добавление новых кирпичных колец изо дня в день, если бы не решение строителей уйти, приводящее к тому, что какой-то кирпич обязательно становится последним, а я – единственным свидетелем остановки работ, потому что во всем доме напротив только я понимаю, что означают пустые леса, от вида которых возникает такое странное чувство, что взгляд сам собой переходит вправо, туда, где кончается деревянная коробка с землей, утыканной яблочными семечками, и обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще дореволюционной, оставшейся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих, а Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер «Правды», предвидя все на свете и, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я и бесконечно длинным летним днем буду наклеивать полоски сиреневой папиросной бумаги на узкие фанерные крылья, сидя на теткиной кровати, глядя за окно и почти не обращая внимания на ее путанные рассказы о том, как в село вошли белые, потом красные, потом опять белые, а потом какие-то непонятные «наши», которых почему-то представляешь себе мужиками в малиновых рубашках каждый раз, когда видишь справа от пыльного крыла ее фотографию и пытаешься сообразить, что это на самом деле значит – взять и умереть, как она, и как можем умереть мы все, если не останемся вечно жить в своих делах по способу Антонины Порфирьевны, даже протирающей после этих слов свои очки, отчего возникает короткая пауза в ее многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире линкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба, заполненного летящими в Канаду журавлями, боевой авиацией и черными пятнами, возникающими от долгого наблюдения за солнцем, медленно меняющим свой цвет при приближении к воображаемой точке, где оно, уже красное и огромное, оказывается только в июне, чтобы на несколько минут коснуться шкафа, осветить его верхнюю половину и превратить его во что тебе хочется, начиная от бастиона Великой Стены и кончая скалою где-то в Америке – смотря куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идешь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу соплю пополам с кровью, а тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра еще разок так же безнаказанно, как сегодня, потому что жаловаться все равно некому, и для любого взрослого нет разницы между избивающими и избиваемыми детьми, раз те и другие в галстуках, с барабанами и горнами, оставив отцов допивать вонючее пиво, уходят в будущее даже тогда, когда просто стоят шеренгой перед пионерлагерными бараками и щурятся от бьющего в глаза света, глядя кто на ползущий вверх по шесту флаг, кто на кота, крадущегося по уже горячим жестяным листам на крыше столовой, чтобы спрыгнуть в кусты, где вечером делят собранные за день окурки, курят, спорят о конструкции женских внутренностей и заедают синий дым зубным порошком, вкус которого остается во рту еще долго после отбоя, запоминаясь как приложение к истории о синем ногте в котлете и чекистах, которые приехали

слишком поздно только потому, что спустила шина, и пока в темном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь, а потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре, как раз напротив твоей замочной скважины, в которую он вполне мог бы напоследок ткнуть карандашом, раз до этого подсыпал битое стекло в сливочное масло и отравлял колодцы, чтобы ты пил из них тифозную воду и полгода лежал в кровати, глядя в окно и угадывая за пушистой завесой падающего снега очертания водонапорной башни, похожей на приставленного к городу часового, стерегущего твой покой и заодно тебя самого, чтобы ты случайно не скрылся в собственном будущем, воспользовавшись теплой весенней ночью, в которую появляется возможность, почти не касаясь земли, углубляться в черные заросли неизвестно откуда взявшегося леса и уже почти узнать то, к чему бежишь со всех ног перед тем, как проснуться и, поглядев на приоткрытую дверь, за которой слышны бодрые утренние голоса и свист примуса, подумать, что каждое утро к ней, как трап, придвигают забитый сундуками и комодами коридор, выход из которого ведет в тот единственный дневной мир, который тебе известен, и чем лучше ты с ним знаком, тем реже дверь твоей комнаты будет раскрываться куда-то еще, в места, названия которых ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что уже давно похож на человека, стоящего на подножке разгоняющегося трамвая и думающего, что чем быстрее тот едет, тем труднее будет спрыгнуть и пойти своей дорогой, пока слова «своя дорога» еще сохраняют некоторый смысл, а точнее – отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом, но раз они все-таки едут дальше, то, наверно, на что-то надеются, а они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которую так надежно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только, что все в нем случается крайне быстро, а время суровое и величественное, и хоть Утесов поет, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли, и все-таки попав именно туда, в чем нет ничего удивительного, раз страна движется от одного крутого перелома к другому, еще более крутому, и все по линии партии, отточенной и прямой, как угол твоей комнаты, где стоит патефон с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомленное солнце, вырезанное кем-то из последней на всю страну оранжевой картонки, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то оно тоже простилось с тобой, и, обернувшись, ты увидишь на столе воблу на мятой «Правде», бутылочку пивка и больше ничего, потому что другого не положено на стол, и именно это, по всей видимости, и придется защищать, если завтра война, потому что никакая твоя защита не нужна ни качающейся за окном сирени, ни узкому лучу света, падающему на расщепляющее его стекло, за которым застыло красно-сине-желтое лицо Горького, большого приятеля нашей державы, так и не успевшего описать в своих книгах, как ты и такие как ты, в спортивных рубашках и белых кепках, с миллионов порогов улыбнутся ей и таким как она, в простых платьях из ситца в цветочках, и все сразу прояснится, потому что все печальное и непонятное имеет свойство проходить, а жизнь содержит именно тот смысл, который ты придаешь ей сам, с ясной целью впереди сидя за всенародными брошюрами, недосыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму, к глупым блатным, еще не понявшим, что в стране, где на деньгах нарисован вглядывающийся в тревожное небо летчик, быть богатым просто невозможно, потому что даже целая армия этих летчиков в кармане не заставят замолчать раскрытый клюв репродуктора, который так страшно слышать даже не из-за смысла долетающих слов, а из-за неожиданной догадки, что с тобой сейчас говорит диктор, фокусник, зарабатывающий себе на жизнь умением заставить тебя на несколько секунд поверить, будто к тебе обращается что-то огромное и могущественное, готовое позаботиться о тебе, когда на самом деле ты и такие как ты нужны этому огромному, чтобы заботиться о нем и защищать, закрывая это неживое и непонятное,

даже не догадывающееся о собственном существовании, той единственной попыткой, которой на самом деле является и твоя жизнь, и жизнь за стриженным затылком, в который ты глядишь, стоя в длинной толпе перед призывным пунктом и теряя мелькнувшую на секунду мысль, узнав в человеке впереди бывшего одноклассника, опять оказавшегося твоим товарищем, которого надо хотя бы оттащить в сторону, чтобы он не лежал у перевернутого грузовика, ногами на дороге, а головой в еще довоенном подорожнике, и муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолеты или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных калошах, полезшего сдуру искать начальство, а потом сдуру побежавшего от конвоя и свалившегося в трех метрах от последнего вагона, уносящего тебя навстречу зиме, лыжам ленинградской фабрики и карнавальному маскхалату, в котором ты встречаешь Новый год, глядя из сугробов на две красные ракеты, блестящие в прозрачном ночном небе, как елочные шары, пока ты думаешь о том, что оставленный на минуту в покое человек может вдруг оказаться так далеко от оставивших его в покое, что те найдут на его месте кого-то другого, уже совершенно не желающего углублять окоп, а пытающегося вместо этого повернуться к стене и заснуть, забыв, что никакой стены возле его койки нет, а есть два узких прохода, как раз подходящих для того, чтобы заново учиться сгибать и разгибать ноги, а потом стоять, ходить и бегать за притормаживающими грузовиками, катящими навстречу летнему солнцу, поганам на плечах и походящему на веник с врезанной консервной банкой автомату, из которого ты ни разу не выстрелил за два года, потому что видел перед собой большей частью заваленную списками живых и мертвых поверхность то школьной парты, за которой когда-то сидел писавший фиолетовыми чернилами Чугунков Коля: «седьмой класс – дурак», то переделанного бильярда, сукно которого с такой скоростью впитывает вылившийся из опрокинутой гильзы бензин, что успеваешь поверить, что ты не опытный вредитель, как намекает взглядом товарищ Кожеуров, а просто сраный разгильдяй, твою мать, только тогда, когда уже неделю то на голодных детей, по-прежнему считающих его материалом для строительства снеговиков и крепостей, то на военкора, смотрящего на незнакомый город из-под черного эмалированного полукруга с таким видом, будто перед ним не несколько случайных трупов на мокрой обочине, а и впрямь заря победы с пограничными столбами, прочитав о которых во фронтовой газете, ты поймешь, что есть люди, старательно оформляющие местность, по которой ты в последний раз бежишь на пулемет, из-за чего им, наверно, приходится говорить между собой на особом языке, совсем как офицерам железнодорожных сил, обсуждающим какие-то кубометры и максимальное число вагонов теплым майским вечером на игрушечной железнодорожной станции, каких у нас просто не бывает, потому что по эту сторону границы все наоборот: что-то железнодорожное есть в детских игрушках, и люди делают свои дома чуть похожими на тюрьмы, чтобы не было особого смысла отправлять их в настоящую тюрьму, зато уж внутри этих самых домов они всей толпой беззаветно штурмуют верхние нары, и нет ничего удивительного, что женщина, которой ты четыре года отправлял письма, каждый раз стараясь целиком поместиться в бумажном треугольнике, недоумевает, как это ты не привез ей из Германии вагон барахла, а раздобыл там только часы в стальном корпусе и старый фотоаппарат, который ты вешаешь на стену комнаты, где родился и вырос, пробивая гвоздем новые обои с такими же розовыми узорами, какими скоро покроется все вокруг, хотя пока они появляются только на сетчатке левого глаза после третьего стакана водки, от запаха которой она морщится, потому что не понимает, что человек должен уметь забывать прошлое, если хочет и дальше идти по жизни, где надо улыбаться наглой женщине из отдела кадров, надевать медали на экзамен и приносить домой несколько веток сирени, напоминающей не то о довоенных чернилах, не то о вечном салюте всем живым, если они, конечно, еще есть в этом городе, лучше приспособленном для грузовиков, чем для людей, особенно крошечных, которые дико орут всю ночь, лежа в своих

кроватках и глядя то на ползущие по потолку квадраты света, то на лицо матери, разрисованное помадой и тушью, купленной у каких-то сволочей перед вокзалом, прямо на площади, где скользят небывалые, как из сна, голубые «Победы», и весело горят огни на домах, подтверждая, что уже никогда не повторится то, что было раньше, или, если сказать то же самое по-другому, все оказалось позади, и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идешь на работу, и переодеваешь в китайский лыжный костюм, приходя домой и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадым человеком другого пола, настолько частым опытом многих, что даже есть специальное слово «жена» для описания того, что чувствуешь, видя завитые короткие волосы и вдыхая запах духов «Колхозница», пропитавший все до такой степени, что комната, где едят и дышат четверо человек, становится похожей на парикмахерскую в день погребения Сталина, отчаянного человека, оставившего вся государственные и партийные посты ради самой обыкновенной смерти, после которой вдруг выяснилось, что в любую гранитную задницу можно без труда вбить кукурузный початок, а это, кстати, можно было бы понять еще очень давно, если бы было время задуматься, но только его нет даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь, так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть – удел слабых, а удел сильных – недобровольная, а сейчас как раз приходит возраст расцвета, когда внизу тебя ждет кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке, и со спины иногда еще долетают слова «молодой человек», потому что на затылке сохранились волосы, а кроме всего этого, ты очень нужен тем, кто дергает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное – на бланках с грифом «секретно», а по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо все время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке, или от чувства полноты жизни, которое надо все время показывать самому, чтобы тебе все время демонстрировали его в ответ, то есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в жэке справками и так далее, и тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живешь как король, после чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегая трусцой по обсаженной сиренью аллее и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставившей этот мир королевой, а чтобы он ни с чем не перепутал это чувство, у него есть дети, уже прикидывающие, как они разменяют квартиру, собранную по частям из освобождающихся комнат, как из кубиков с фрагментами рисунка, в надежде, что сойдется, а когда все сошлось, страшно даже посмотреть на это, потому что догадываешься, какой рисунок вышел, и тебе приходится отсекал уже гниющие части мира, чтобы в узком коридоре смысла глядеть в телевизор и гадать, чувствуют ли они то же самое, и если да, то зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние оставшиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь в специальный раствор, пахнувший сиренью, и долго стоять над плексигласовым стаканом, силясь вспомнить, о чем же напоминает этот запах, но вместо этого вдруг наткнуться на мысль, что догадываешься сейчас о существовании жизни так же, как когда-то догадывался о существовании смерти, от чего становится до того страшно, что делаешь одновременно три вещи: закуливаешь сигарету, включаешь телевизор и открываешь недавно купленную книгу, где сказано, что прошел о Нем слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их, и следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана, откуда все громче доносится гневный голос арабского народа, обещающий кратковременные дожди и

восемнадцать – двадцать градусов тепла – как раз то, что нужно для ритуального посещения дачи, где тебя встречают как неизбежное зло, и из окна которой ты видишь выросший прямо у стены гриб, похожий не то на человечка, не то на крохотную водонапорную башню, что, в сущности, одно и то же, если вспомнить, что человек – это почти что двухметровый столб воды, способный самостоятельно перемещаться по поверхности земного шара, двигаясь к железнодорожной станции сквозь сгущающиеся сумерки и прислушиваясь к долетающей откуда-то музыке, совершенно не подходящей для того, чтобы разместить в ней хоть одно свое чувство, и поэтому чужой и оскорбительной, но все-таки прекрасной, раз вокруг полно тех, кому это удастся без всякого усилия с их стороны в те же дни, когда ты тайком, как другие пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно предсмертное черное пальто и всерьез ищешь чего-то в приобретенной для смеху и интеллигентности книге, когда пытаешься дозвониться бывшим детям, чтобы услышать в трубке свой уверенный бодрый голос и лишний раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире, сужающемся с движением твоего взгляда по обоям навстречу просвету окна перед шторой, за которую ты держишься, надеясь, что на этот раз отпустит, если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо, потому что, когда человек начинает принимать треугольное слуховое окно на маленькой зеленой крыше за глаз, который глядел на него с рожденья, уже не имеет никакого значения ни то, как именно он упадет на пол, ни то, что последним увиденным им на свете предметом окажется водонапорная башня.

# Миттельшпиль

Участок тротуара у «Националя» – последние десять метров Тверской улицы Горького – был обнесен деревянными столбиками, между которыми на холодном январском ветру раскачивалась веревка с мятыми красными флажками. Желая спуститься в подземный переход приходилось сходить с тротуара и идти вдоль припаркованных машин, читая яркие оскорбления на непонятных языках, приклеенные к стеклам изнутри. Особенно обидной Люсе показалась надпись на огромном обтекаемом автобусе – «We show you Europe». Насчет «We» было ясно – это фирма, которой принадлежал автобус. А вот кто этот «you»? Люсе что-то подсказывало, что имеются в виду не желающие прокатиться иностранцы, а именно она, а этот залепленный снегом автобус – и есть Европа, одновременно близкая и совершенно недостижимая. Из-за Европы выглянула красная милицейская харя и ухмыльнулась настолько в такт Люсиным мыслям, что она рефлекторно повернула назад.

Поднявшись по ступенькам на площадку перед «Интуристом», она подошла к ларьку, где продавали кофе. Обычно перед ним топталась очередь минут на пять, но сегодня из-за мороза было пусто и даже плексигласовое оконце было закрыто. Люся постучала. Девушка, дремавшая возле гриля, встала, подошла к стойке и со знакомой ненавистью глянула на Люсину лисью шубу («пятнадцать кусков», как ее называли подруги), лисью шапку и на чуть тронутое дорогой косметикой лицо, глядевшее на нее из заснеженного темного мира.

– Кофе, пожалуйста, – сказала Люся.

Девушка сунула два кофейника в песок на плите, взяла рубль и спросила:

– Не холодно так, весь вечер на панели?

«Сука, а?» – подумала Люся, но в ответ ничего грубого не сказала, взяла кофе и отошла к столику.

Сегодня день был не очень удачный. Точнее сказать, совсем неудачный – возле «Националя» гужевались одни пьяные финны, и то, похоже, какие-то рыболовы. Мелькнул только седоватый худой француз с выпуклыми развратными глазами – но, прощмыгнув раза два мимо Люси, так ничего и не сказал, кинул на лед возле урны пустую пачку «Житан», сунул руки в карманы дубленки и исчез за углом. Мороз. Холодно было так, что даже шоферы, торгующие сигаретами, презервативами и пивом, перенесли свою особую экономическую зону с улицы в узкий тамбур «Националя», где шутливо переругивались с весельчаком швейцаром:

– Это ты раньше был в гэбухе полковник, а сейчас такое же говно, как все... Или ты, может, весь холл купил? У нас тоже права человека имеются...

Люся зашла к ним, купила за четвертной «Салем» у какого-то дедуни с разъеденным носом и вышла опять на мороз. Фирмб дрыхла по своим номерам или глядела в окна на мигающий разноцветными огнями замерзший город и совсем, похоже, не думала о Люсином нежном теле.

«Пойти, что ли, в «Москву»?»

Люся брезгливо поглядела на серый имперский фасад, украшенный двухметровыми синими снежинками на белых полотнищах – от ветра по ткани проходили волны, и снежинки казались огромными синими вшами, шевелящимися на холодной стене.

«Хотя там тоже тухло...»

У подъезда «Москвы» было действительно безрадостно: снег, завывание ветра – так и казалось, что из-за колонн сейчас выйдут ребята с простыми открытыми лицами, в шинелях, с овчарками на широких брезентовых ремнях. Внутри, в больших мраморных сенях, пьяная восточная компания пела какой-то древний боевой гимн, а с третьего этажа долетала другая музыка – ресторанная, блеющая:

– Воу-оу, ю-ин-зи-ами-нау...

Люся сдала шубу и шапку, поправила невесомый свитер с серебряными блестками и пошла на второй этаж. Хоть место было и гнилое, а все же именно здесь осенью Люся сняла немца на триста марок и два флакона «Пуассона» с распылителем. Лучше всего – это какой-нибудь пожилой коммивояжёр с полоской от обручального кольца на волосатом безымянном пальце – толстячок, уже обтяпавший свои дела с соввластью и ждущий теперь от дикой северной земли в меру сладкого и опасного приключения. Такой клиент не торчит на ступенях «Интуриста», а идет в угол потемнее, вроде «Москвы» или даже «Минска», от страха платит много, да и не заразный наверняка. А в запросах трогательно прост. Но встречается он редко и, главное, непредсказуемо – это как рыбу удить.

Люся взяла два коктейля, села за угловой столик в баре, щелкнула зажигалкой и дунула дорогим дымом в темный потолок. Вокруг было почти пусто. За столиком напротив сидели два морских офицера в черной форме – лысые, с гробовыми лицами. Перед каждым желтело по нетронутому стакану с коктейлем, а на полу под столиком стояла бутылка водки – они пили через длинную пластиковую трубочку, передавая ее друг другу таким же спокойным и точным движением, каким, наверно, нажимали кнопки и переключали тумблеры на пультах своего подводного ракетносца.

Допью – и домой, подумала Люся.

Заглушая музыку с третьего этажа, заиграл магнитофон, и тут вдруг у Люси по спине прошла слабая судорога. Это была старая песня «Аббы» – что-то про трубача, луну и так далее. В восемьдесят четвертом – или восемьдесят пятом? – именно ее все лето крутил старенький катушечный «Маяк» в штабе стройотряда. Где ж это было? Астрахань? Или Саратов? Господи, со странным чувством подумала Люся, вот ведь забросила жизнь. Сказал бы кто тогда, даже в шутку – сразу бы в рожу получил. И главное, как-то все само собой вышло. Или не само?

– Па-а-звольте вас пригласить.

Люся подняла голову. Перед ней стоял черный морской офицер, без выражения глядел ей в лицо и чуть покачивал длинными руками, вытянутыми вдоль туловища.

– Куда? – не поняла Люся.

– На танец. Армия – это танец. Танец рождает свободу.

Люся открыла было рот, а потом неожиданно для самой себя кивнула головой и встала.

Черные руки, как замок на чемодане, щелкнулись у нее за спиной, и офицер стал мелкими шагами ходить между столиков, увлекая Люсю за собой и норовя прижаться к ней своим черным кителем – это был даже не китель, а что-то вроде школьной курточки, только большой и с погонами. Перемещался офицер совершенно не в такт музыке. Видно, у него внутри играл свой маленький оркестр, исполнявший что-то медленное и надрывное. Из его рта веяло водкой – не перегаром, а именно холодным и чистым химическим запахом.

– Ты чего лысый-то? – спросила Люся, чуть отпихивая офицера от себя. – Ведь молодой еще.

– Семь лет в стальном гробу-у, – тихо пропел офицер, подняв на последнем слове голос почти до фальцета.

– Шутишь? – спросила Люся.

– В гробу-у, – протянул офицер и откровенно прижался к ней.

– А ты знаешь хоть, что такое свобода? – отталкивая его, спросила Люся. – Знаешь?

Офицер что-то промычал.

Музыка кончилась, и Люся, без всяких церемоний отделив его от себя, вернулась к столику и села. Коктейль был на вкус отвратительным; Люся отодвинула его и, чтобы чем-нибудь себя занять, раскрыла на коленях сумочку. Раздвинув страницы лежащего между пудреницей и

зубной щеткой номера «Молодой гвардии» (зная, что этого журнала никто никогда не откроет, она прятала в нем валюту), она стала на ощупь считать зеленые пятерки, вызывая в памяти благородное лицо Линкольна и надпись со словами «legal tender», которые она переводила как «легальная нежность». Бумажек оставалось всего восемь, и Люся, вздохнув, решила попытаться счастья на третьем этаже, чтобы не мучила потом совесть.

Дорогу наверх преграждал толстый бархатный шнур, перед которым толпились совки, желающие попасть в ресторан, а узкий остававшийся проход был заполнен сидящим на табурете старшим официантом в синей форме с какими-то желтыми нашивками. Люся кивнула ему, перешагнула шнур, поднялась в ресторан и свернула в кафельный закуток перед буфетом. Там как раз стоял знакомый официант Сережа и через пластмассовую воронку переливал остатки шампанского из множества бокалов в бутылку, уже перехваченную салфеткой и стоящую в ведерке.

– Привет, Сережа, – сказала Люся, – как сегодня?

Сережа улыбнулся и помахал ей рукой – он относился к Люсе с тем бескорыстным уважением и симпатией, с каким, наверно, знатный токарь думает субботним вечером о знакомом асе-фрезеровщике.

– Ерунда, Люсь. Два поляка драных и Кампучия с тятками. Ты в пятницу приходи. Нефтяные арабы будут. Я тебя к самому потному посажу.

– Боюсь я эту Азию, – вздохнула Люся. – Я как-то с одним арабом работала – ты, Сергей, не поверишь. Он с собой в чемодане дамасскую саблю возит – она сворачивается, как этот... – Люся показала руками.

– Ремень, – подсказал Сергей.

– Нет, не ремень, а этот... Метр складной. Он без этой сабли возбудиться не может. Всю ночь ее из руки не выпускал, подушку пополам разрубил. Я к утру вся в пуху была. Хорошо, там ванная в номере...

Сережа посмеялся, подхватил поднос с шампанским и убежал в зал. Люся задержалась на секунду у мраморного ограждения, чтобы поглядеть на расписной потолок, – в его центре была огромная фреска, изображавшая, как Люся смутно догадывалась, сотворение мира, в котором она родилась и выросла и который за последние несколько лет уже успел куда-то исчезнуть: в центре огромными букетами расплывались огни салюта, а по углам стояли титаны – не то лыжники в тренировочных, не то студенты с тетрадами под мышкой, – Люся никогда не разглядывала их, потому что все ее внимание притягивали стрелы и звезды салюта, нарисованные какими-то давно забытыми цветами, теми самыми, которыми утро красит еще иногда стены старого Кремля: сиреневыми, розовыми и нежно-лиловыми, напоминающими о давно канувших в Лету жестяных карамельных коробках, зубном порошке и ветхих настенных календариках, оставшихся вместе с пачкой облигаций от забытой уже бабушки.

При виде этой росписи Люсе всегда становилось грустно; стало и сейчас. Здесь ее часто посещали мысли о бренности существования – а тут еще вспомнилась знакомая, Наташа, которая нашла себе в мужья пожилого негра и уже совсем было собрала чемоданы, но совершенно неожиданно вместо хлебной и теплой Зимбабве попала на мерзлое советское кладбище. Кто ее убил, было совершенно непонятно, но, видимо, это был какой-то маньяк, потому что во рту у нее нашли белую шахматную пешку.

Люся представила себе покрытый ледяной коркой сугроб, а в нем – свой труп с открытым ртом, из которого торчит белая пешка, и ей вдруг стало страшно оставаться в этом огромном, нечистом, орущем пьяными голосами и дребезжащем посудой здании.

Она быстро вышла из зала и пошла вниз, к гардеробу. Видно, что-то произошло с ее лицом – старший официант посмотрел на нее и сразу отвел удивленный взгляд в сторону. «Успокойся,

дура, – велела себе Люся, – как с такими мыслями работать будешь? Никто тебя не убьет». Музыка из ресторана была слышна внизу даже лучше, чем на третьем этаже, – тише, но отчетливей.

– Воу-оу, – бог весть в какой раз провыл за сегодня певец, хлопнула дверь, и то же самое завыл ветер.

У подъезда стояла девушка в черном кожаном балахоне и зеленой шерстяной шапочке. Из ее кармана торчал номер «Молодой гвардии», и Люся поняла, что это коллега. Да и без журнала можно было догадаться.

– Дай сигарету, – попросила девушка.

Люся дала, и девушка закурила.

– Как там? – спросила она.

– Пустота, – ответила Люся, – пьяные матросы какие-то и совки. В «Интурист» пойти, что ли?

– Только что оттуда, – ответила девушка. – Там береза сидит, Аньку сегодня опять повязали. Ее кубинский генерал кокаином угостил, так ей, дура, так стало радостно, что она официанту двадцать долларов сунула на чай. А официант идейный оказался, в Сальвадоре контуженный. Он ей говорит: попалась бы ты мне, сука, в джунглях, я б тебя сначала ребятам отдал для потехи, а потом – голый жопой в термитник. Я, говорит, кровь проливал, а ты страну позоришь.

– Еще подумать надо, кто страну позорит. А чего они обнаглели так? Опять на венских переговорах тупик?

– Да при чем тут переговоры? – сказала девушка. – Это что-то новое идет. Ты про Наташу слышала?

– Про какую? Которую убили, что ли? – стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно, спросила Люся.

– Ну. Которую с пешкой во рту в сугроб бросили.

– Слышала. И что?

– А то, что позавчера у «Космоса» Таньку Поликарпову нашли. С ладьей.

– Таньку замочили? – похолодела Люся. – Неужто гэбэ? Или рэкет?

– Не знаю, не знаю, – задумчиво сказала девушка. – Не похоже. Валюту не взяли, сумку с продуктами – тоже. Только ладью положили в рот. Ну да ладно, чего об этом на ночь глядя...

Люся нервно полезла за сигаретой.

– Тебя как звать-то? – спросила она.

– Нелли, – ответила девушка, – а ты Люся, я знаю. Как раз Анька сегодня про тебя вспоминала.

Люся внимательно поглядела на собеседницу: ямочки на щеках, чуть вздернутый нос, подчеркнутые ресницы – Люсе казалось, что она уже видела где-то это лицо, видела много раз.

«Где же я ее встречала? – напряженно думала Люся. – Да уж и не контора ли?»

– Я вообще в «Космосе» работаю, – сказала Нелли, словно прочтя ее мысли, – только там неделю назад наряд на дверях сменили. А пока к новым подрулишь, состаришься. Они вчера француза не пускали, карточку в номере забыл. Он им кричит, чтоб в регистрационной книге посмотрели, а они – как столбы...

Люся вроде бы вспомнила.

– А я тебя в «Национале» видела, – неуверенно сказала она, – в баре. Платье у тебя классное.

– Какое?

– Коричневое с черным.

– А, – улыбнулась Нелли, – Ив Сен-Лоран.

– Врешь.

Нелли пожала плечами. Возникла неловкая пауза, и тут какой-то молодой человек, уже несколько минут тершийся рядом, сделал к ним шаг и фрикативно, с малоросским выговором, но очень отчетливо выговаривая слова, спросил:

– Эй, герлы, гринов не пихаете?

Люся брезгливо поглядела на его кроличью ушанку и куртку из плохой кожи, а потом только – на румяное лицо с рыжеватыми усиками и водянистыми глазами.

– Эх, береза, – сказала она, – навезли вас в Москву. Да ты хоть знаешь, как мы грины называем?

– Как? – покраснев поверх румянца, спросил молодой человек.

– Доллары. И мы не герлы никакие, а девушки. Скажи своему командиру, что ваши словари уже десять лет говно.

Молодой человек хотел что-то сказать, но его перебила Нелли:

– Не обижайся, Вася. Мы ведь тоже такими, как ты, когда-то были. На вот тебе пять долларов, выпей кофе в баре.

Люся вздрогнула.

– Зря ты его так, – сказала Нелли, когда молодой человек побито скрылся за квадратной колонной. – Это ж Вася, постовой из Внешэкономбанка. Его каждую неделю присылают курс узнавать.

– Ладно, – сказала Люся, – я домой порулила. Увидимся еще.

– Может, выпьем вместе?

Люся помотала головой и улыбнулась.

– Увидимся, – сказала она, – пока.

Дойдя с поднятой рукой аж до самого Манежа, Люся всерьез замерзла. Холодно было лицу и рукам, и, как всегда на морозе, тупо заныли груди. Она поймала себя на том, что морщится от боли, вспомнила о наметившейся на лбу морщинке и постаралась расслабить лицо, и через несколько минут боль отпустила.

Такси, не останавливаясь, пролетали мимо, издевательски подмигивая своими зелеными огоньками. Таксисты в основном торговали водкой и только изредка, для души, брали приглянувшихся им пассажиров, поэтому Люся даже и не поднимала руку навстречу салатовым «Волгам» – ждала частника. Один – очкарик в раздолбанном «Запорожце» – остановился, выслушал адрес и сухо спросил:

– Сколько?

– Четвертной.

Очкарик, не ответив, отрулил.

Люся все никак не могла отделаться от эха разговора на ступенях «Москвы». «Таньку замочили», – бессмысленно повторяла она про себя. Смысл этого словосочетания как-то не доходил до сознания. Становилось совсем холодно, и опять заныла грудь. Еще можно было успеть в метро, но потом пришлось бы полчаса брести по обледенелому проспекту имени какого-то звероящера – одной, в дорогой шубе, вздрагивая от пьяного хохота ветра в огромных бетонных арках. Она совсем уже было решила, что вечер кончится именно так, когда рядом вдруг остановился маленький зеленый автобус – «пазик» с двухбуквенным военным номером.

За рулем сидел офицер – тот самый танцор из ресторана, только теперь он был в черной шинели и надетой набекрень пилотке с большим жестяным гербом.

– Садись, – сказал из салона второй лысый и черный, – не бзди.

Люся заглянула в полутемный салон и с удивлением увидела Нелли, сидящую в вольной

позе на боковом сиденье, возле моряка.

– Люся! – весело крикнула та. – Залазь. Морячки смиренные. Мимо меня едут, а там – тебе куда?

– Крылатское, – сказала Люся.

– Тоже Крылатское?! Ну, подруга, мы, значит, соседи. Садись давай...

Второй раз за сегодня Люся поступила странно – вместо того чтобы послать всю компанию подальше, как сделала бы любая серьезная конвертируемая девушка, она, согнувшись, шагнула вверх по ступеням, и сразу же автобус сорвался с места, лихо развернулся и понесся мимо Большого театра, «Детского мира», мимо памятника знаменитому художнику и его огромной мастерской – в какие-то темные, завывающие улочки, перекрытые полуразвалившимися деревянными заборами, чернеющие провалами пустых окон.

– Я Вадим, – сказал второй лысый. – А это (он кивнул на сидящего за рулем) Валера.

– Валер-р-ра, – повторил тот, как бы вслушиваясь в непонятное слово.

– Хочешь водки? – спросил Вадим.

– Давай, – ответила Люся, – только через трубочку.

– Почему это через трубочку? – спросила Нелли.

– А они через трубочку пьют, – сказала Люся, принимая тонкий и мягкий конец трубочки и поднося его к губам.

Пить так водку было тяжело и неприятно, но все же занятней, чем из горлышка.

– Как вам, девочки, живется весело, – прошептал Вадим, – а мы...

– Не жалуемся, – сказала ему Нелли, – а мне, если можно, в стакан.

– Сделаем...

Люся вдруг заметила, что в автобусе тоже играет музыка – рядом с Валерой на чехле мотора лежал кассетник. Это были «Бэд бойз блю». Люся очень их любила – конечно, не саму музыку, а ее действие. Все вокруг постепенно становилось простым и, главное, уместным – темные внутренности автобуса, два поблескивающих военно-морских черепа, Нелли, покачивающая ногой в такт мелодии, мелькающие в окне дома, машины и люди. Начала действовать водка; неясная грусть пополам с отчетливым страхом, вынесенная Люсей из «Москвы», улетучилась. И обычная девичья, целомудренная в своей безнадежности мечта о загорелом и человечном американце овладела Люсиной душой, и так вдруг захотелось поверить поющему иностранцу, что у нас не будет сожалений и мы еще улетим отсюда в машине времени, хотя давно уже трясемся в поезде, идущем в никуда.

«A train to nowhere... A train to nowhere...»

Кассета кончилась.

Автобус выскочил на какую-то широкую дорогу, по краям которой стояли обледенелые деревья, и поехал за грузовиком с желтой табличкой «Люди» на заднем борту – в кузове тяжело громыхало что-то железное, и этот лязг словно разбудил Люсю.

– А мы куда катим-то? – вдруг спросила она, озаботившись тем, что места вокруг мелькали незнакомые и даже не очень московские.

– Ни-ч-ч-че-во, – громко сказал Валера за рулем, и обе девушки вздрогнули.

– Да понимаешь, заправиться надо, – оживленно сказал Вадим, – бензина до Крылатского не хватит.

– И далеко это? – спросила Люся.

– Да нет, есть тут рядом колонка, где за талоны...

Слово «талонь» окончательно успокоило Люсю.

– А мы, девочки, на флоте служим, – заговорил Вадим. – На гвардии подводном атомоходе

«Тамбов». Это, можно сказать, такой большой подводный бронепоезд с дружным, как семья, экипажем. Да... Семь лет уже.

Он снял пилотку и провел ладонью по тускло блеснувшему черепу.

Автобус свернул на боковую дорогу – узкую, с какими-то бетонными дотами по бокам, – уже, кажется, вокруг был не город, а сельская местность; на небе, как глаза давешнего француза, выпукло горели холодные развратные звезды, и шум мотора показался вдруг странно тихим, а может, просто исчезло гудение ехавших вокруг грузовиков.

– Океан, – говорил Вадим, обнимая Нелли за плечи, – огромен. Во все стороны, куда ни помотришь, уходит его бесконечный серый простор. Сверху – далекий звездный купол с плывущими облаками... Толща воды... Огромные подводные небеса, сначала светло-зеленые, потом – темно-синие, и так на сотни, тысячи километров. Гигантские киты, хищные акулы, таинственные существа глубин... И вот, представь, в этой безжалостной вселенной висит тоненькая скорлупка нашей подводной лодки, такая... такая, если вдуматься, крохотная... И горит желтой точкой иллюминатор в борту, а за ним – партсобрание, и Валера делает доклад. А вокруг – пойми! – океан... Древний великий океан...

– При-е-ха-ли, – сказал Валера.

Люся подняла голову и поглядела по сторонам. Автобус стоял на заснеженной равнине, метрах в тридцати от пустого шоссе. Двигатель заглох, и стало совсем тихо. За окном страшно мигали звезды и виднелся далекий лес. Люся вдруг удивилась, что вокруг довольно светло, хоть нет ни одного огонька, а потом подумала, что это, наверно, снег отражает рассеянный звездный свет. От выпитой водки было уютно и безопасно – мелькнула, правда, мысль, что происходит что-то не то, но сразу и исчезла.

– Чего приехали-то? Шутишь? – резким голосом спросила Нелли.

Вадим снял с ее плеча свою руку и теперь сидел, уткнувшись лицом в сложенные ладони, и тихо хихикал. Валера выскочил из кабины, и через секунду с выдохом раскрылась дверь в салон. С мороза влетели клубы пара; Валера медленно и как-то торжественно поднялся по ступеням. В полутьме выражение его лица было неопределимым, но в руке у него был пистолет «макаров», а под мышкой – большая ободранная шахматная доска. Не оборачиваясь, одним толчком левой руки он закрыл дверь, пискнувщую на морозе резиной, и махнул пистолетом Вадиму.

Люся соскользнула с лавки и, со страшной скоростью трезвея, попятилась в конец салона. Нелли тоже подалась назад, споткнулась обо что-то на полу и чуть не упала на Люсю, но все же удержалась на ногах.

Валера стоял на передней площадке, держась за наведенный на девушек пистолет, как за поручень. Вадим встал рядом, одной рукой вытащил пистолет, а другой взял у Валеры доску и высыпал из нее шахматы на кожух мотора. Потом он замер, будто забыв, что делать дальше. Валера тоже стоял неподвижно, и между двумя силуэтами, словно вырезанными из черного картона, старательно мигала на приборном щитке зеленая лампочка, сообщая создавшему ее разуму, что в сложном механизме автобуса все в порядке.

– Мальчики, – тихо и ласково сказала Нелли, – все сделаем, что захотите, только шахматы спрячьте...

«Шахматы!» – повторила про себя Люся, и до нее наконец дошло.

Слова Нелли словно включили моряков.

– При-е-ха-ли, – повторил Валера и взвел пистолет. Вадим поглядел на него и сделал то же.

– Давай, – сказал Валера, и Вадим, отвернувшись, положил свой «макаров» на кожух мотора и склонился над каким-то пакетом, лежащим возле горсти шахматных фигур. Люся не могла понять, что он делает, – Вадим чиркал спичками, заглядывал в какую-то бумажку и опять нагибался к затянутой коричневым дерматином поверхности, где у нормальных шоферов лежат

пачки талонов, жестянка с мелочью и микрофон. Валера стоял неподвижно, и Люсе пришло в голову, что его вытянутая рука сильно устала.

Наконец Вадим закончил свои приготовления и сделал шаг в сторону.

На чехле мотора, превратившемся в странного вида алтарь, горели четыре толстые свечи. В центре образованного ими квадрата поблескивала раскрытая шахматная доска, на которой, далеко вклиниваясь друг в друга, стояли черная и белая армии; их ряды были уже довольно редки, и Люся, чьи чувства предельно обострил ужас, вдруг ощутила драматизм столкновения двух непримиримейших начал, представленных грубыми деревянными фигурками на клетчатом поле, – ощутила, несмотря на полное равнодушие к шахматам, которое она испытывала всю жизнь.

У края доски, занятого черными, стоял небольшой металлический человек, худой, в пиджаке, со втянутыми щеками и падающей на лоб стальной прядью. Он был сантиметров двадцати ростом, но казался странно огромным, а из-за подрагивающего пламени свечей – еще и живым, совершающим какие-то мелкие бессмысленные движения.

– Таз-з-зик, – сказал Валера, и Вадим достал откуда-то из кабины маленький эмалированный таз. Он поставил его на пол, выпрямился, и они опять замерли.

– Ребята, не надо, – услышала вдруг Люся свой незнакомый голос, услышала и поняла, что допустила ошибку, потому что две черные фигуры снова пришли в движение.

– Ты, – сказал Валера, указывая на Нелли.

Нелли вопросительно ткнула в себя большим пальцем, и двое в черном синхронно кивнули головами. Нелли пошла вперед, жалко покачивая французской сумочкой, ремешок которой она сжимала в кулаке. Дойдя до середины салона, она остановилась и оглянулась на Люсю. Люся ободряюще улыбнулась, чувствуя, как на ее глазах выступают слезы.

– Ты, – повторил Валера.

Нелли пошла дальше. Дойдя до двух черных фигур, она остановилась.

– Девушка, – казенным голосом сказал Вадим, – пожалуйста, сделайте ход белыми.

– Какой? – спросила Нелли. Она казалась спокойной и безучастной.

– На ваше усмотрение.

Нелли поглядела на доску и передвинула какую-то фигуру.

– Теперь, пожалуйста, встаньте на колени, – тем же тоном сказал Вадим.

Нелли опять оглянулась на Люсю, неправильно перекрестилась и медленно встала на колени, откинув край юбки. Валера спрятал пистолет и вытащил из кармана длинное шило.

– Наклонитесь над тазиком, – сказал Вадим.

– Таз-з-зик, – сказал Валера.

Нелли втянула голову в плечи.

– Я повторяю, наклонитесь над тазиком.

Люся зажмурилась.

– При-е-ха-ли, – сказал вдруг Валера.

Люся открыла глаза.

– При-е-ха-ли, – опуская руку с шилом, повторил Валера, – конь так не ходит.

– Да ведь это не важно, – успокаивающе проговорил Вадим, беря Валеру под руку, – совсем не важно...

– Не важно? Ты хочешь, чтобы он опять проиграл? Да? Они тебя тоже купили? – визгливо выкрикнул Валера.

– Успокойся, – сказал Вадим, – пожалуйста. Хочешь, она переходит?

– Он опять проиграет, – сказал Валера, – и опять из-за тебя, дура проклятая.

– Девушка, – напряженно сказал Вадим, – встаньте и сделайте нормальный ход.

Нелли поднялась с колен, поглядела на Валеру и увидела в его руке подрагивающее шило. Дальше все произошло очень быстро – Нелли, видимо, наконец поняла, что происходящее действительно происходит. Она схватила металлического человека за голову и с криком обрушила его кубический постамент на черную пилотку Валеры, который сразу же, будто по уговору, свалился в ступенчатую яму у передней двери.

Люся сжала ладонями уши, ожидая, что Вадим сейчас начнет стрелять из пистолета, но он вместо этого быстро сел на корточки и закрыл голову руками. Нелли еще раз взмахнула металлическим человеком, и Вадим взвыл от боли – удар пришелся по пальцам, – но не изменил позы. Нелли стукнула его еще раз, но он по-прежнему остался в неподвижности, только спрятал ушибленную кисть под пальцы здоровой и сказал тихо:

– Уй, сука.

Нелли замахнулась было в третий раз, но заметила пистолет, оставленный Вадимом возле шахматной доски, швырнула на пол металлическую фигуру, схватила пистолет и навела на закрытого от Люси металлической загородкой Валеру.

– Бросай оружие, – хриплым, мужским голосом сказала она. – А ну быстро!

За загородкой послышалось копошение, потом оттуда вылетел пистолет – Валера подбросил его почти к самому потолку – и стукнулся о пол. Нелли быстро подняла его и сказала:

– А теперь вылазь! Руки вверх!

Над перегородкой поднялись ладони в черных рукавах, а вслед за ними – лысый череп и внимательные глаза. Нелли стала медленно пятиться по салону и остановилась, дойдя до остолбеневшей Люси. Вадим все так же сидел на корточках, словно под штормовым ветром прижимая к голове черную пилотку. Валера взглянул на девушек, опустил на четвереньки и принялся собирать рассыпавшиеся по полу шахматные фигуры.

– Семь лет в стальном гробу-у, – тихо запел он.

Нелли из двух стволов выпалила в потолок, и Валера, дернувшись, вскочил на ноги и выбросил руки над головой. Вадим только глубже втянул голову в шинель.

– Какие сволочи, – сказала Люся, опасливо принимая дымящийся пистолет, и по ее щекам хлынули два черных ручья.

– Слушай, что я скажу, – зашипела Нелли двум черным офицерам, – ты не шевелись, а ты, – она повернула ствол к Валере, – садись за руль. И если ты хоть раз притормозишь не там, где надо, я тебе из этой волюны блямбу припаяю прямо в лысину, не сомневайся...

Жаргон правоохранительных органов подействовал на морячков мгновенно – над плечами Вадима осталось совсем немного лба и пилотки, остальное ушло в шинель, а Валера сел прямо на шахматную доску, повалив еще горящие свечи, и рывком перенес ноги в кабину. Затарахтел мотор, и автобус выполз на шоссе.

– Нелли, – вдруг сказала Люся, – скажи ему, чтоб он «Бэд бойз блю» поставил.

Нелли ничего не сказала, но Валера, видимо, услышал: заиграла музыка. Качающийся на корточках Вадим сначала несколько раз всхлипнул, а потом глубоко, всем животом, зарыдал и затрясся, перемещаясь от одного ряда сидений к другому. На каком-то перекрестке Валера повернулся и сказал ему:

– Что ж ты, падла, хнычешь... Весь флот позоришь...

Но Вадим продолжал рыдать, казалось, он ревел не из-за случившегося, а оплакивал что-то другое – словно бы потерянный в детстве альбом марок, о котором он вдруг вспомнил. Люсе стало его по-женски жаль, а потом ее рука наткнулась на так и лежавшую на сиденье бутылку с трубочкой в горлышке.

– Вот этот дом, – сказала Нелли, показывая на зеленую башню-шестнадцатизэтажку. – К

подъезду, лысый... Открой дверь.

Дверь зашипела и открылась.

– В комендатуру нас сдадите? – спросил Валера. – Или как?

– Валите отсюда, гады, – сказала Нелли, – и чтоб... Я на ментов никогда не работала.

– Вот и я говорю, – рассудительно сказал Валера, – лучше всего – гражданское согласие. А пистолеты как?

Нелли задумалась.

– Видишь сугроб? – Она показала на снежную горку метрах в пяти от автобуса. – Мы их тебе из форточки выкинем. Нам лишняя статья не нужна, правда, Люсь?

Люся кивнула – она уже совсем успокоилась и теперь чувствовала себя маленькой героической пулеметчицей.

– Сидеть в автобусе еще пять минут, гады, поняли? – сказала Нелли, когда Люся была уже на улице. Выходя, Нелли подняла с пола металлическую фигуру и зажала ее под мышкой – Люся увидела, как Валера сжал кулаки у искаженного лица и издал тихий стон. Вадим так и сидел, закрыв голову руками.

До подъезда дошли пятясь – мотор автобуса негромко урчал, и за стеклами были видны два неподвижных черных силуэта.

– В лифт, быстрее, – бормотала Нелли. Люся вслед за ней вбежала на площадку к лифтам, но Нелли вдруг вернулась к газетному ящику, открыла его, вытащила свежий номер «Молодой гвардии» и кинулась назад. Как раз подошел лифт, и только когда его двери закрылись, Люся окончательно расслабилась.

«Ну и денек сегодня», – подумала она, косясь на торчащую из-под Неллиной руки небольшую голову.

– Очень испугалась? – спросила Нелли.

– Есть немного, – ответила Люся. – Они ж маньяки оба – грохнули б нас и в сугроб до весны. С пешками во рту. Слушай, так ведь это они Наташу с Танькой... Как же это мы их отпустили?

– А вот посмотри сюда, – сказала Нелли, открывая последнюю страницу журнала и поднося разворот к Люсиному лицу, – видишь, какой тираж?

– Ну и что?

– А то. В любом лесу есть свои санитары. Регулировка численности.

– Как-то ты уж очень цинично, – пробормотала Люся.

– А жизнь тоже циничная, – ответила Нелли.

Лифт остановился на одном из верхних этажей – на каком именно, Люся не заметила. Дверь квартиры была единственной на этаже без дерматиновой обивки – просто деревянная. Щелкнул замок.

– Заходи.

В квартире у Нелли был редкостный беспорядок. Дверь в единственную комнату была распахнута, и там горел свет – видно, Нелли не выключила его, уходя. Повсюду раскидана одежда; флаконы дорогих духов валялись на полу, как бутылки в жилье алкоголика; на ковре, между разбросанных журналов (большой частью «Вог», но была и пара «Ньюсуиков») щетинились окурками несколько пепельниц. На полу у стены стоял маленький японский телевизор, а рядом чернел огромный двухкассетник. У окна была небольшая книжная полка, и на ней стояло не меньше десяти разбухших «Молодых гвардий» – у Люси даже в лучшие времена никогда не скапливалось больше пяти, и она на секунду ощутила зависть. Пахло кислым; Люся сразу узнала этот запах, возникающий, когда разливают шампанское и лужа несколько дней испаряется, превращаясь во что-то вроде пятна клея.

Главное место в комнате занимала двуспальная кровать – такая громадная, что с первого взгляда даже не замечалась. На ней лежало синее пуховое одеяло и разноцветные махровые простыни, дар братского Вьетнама.

«Тоже к себе водит, – думала Люся, внимательно глядя на металлического человека, – и ничего в этом, выходит, нет страшного. Не я одна...»

– Изделие карпов, – вслух прочитала она надпись на маленькой серой бумажке, приклеенной к кубическому пьедесталу.

– Каких карпов, – сказала Нелли, снимая свой кожаный балахон. – Это советское.

Люся непонимающе подняла на нее глаза.

– Карпы, – объяснила Нелли, отбирая изделие, – это на милицейском языке американцы.

Она осталась в зеленом шерстяном платье, перехваченном тонким черным пояском, – оно очень шло к ее черным волосам и зеленым эмалевым сережкам.

– Раздевайся, – сказала она, – я сейчас.

Люся сняла шубу и шапку, повесила их на рога оленя, служившие вешалкой, подтянула к себе два разных тапочка, сунула в них ноги и пошла в ванную, где первым делом смыла со щек черные косметические ручки. Потом она пошла на кухню к Нелли. Там был такой же беспорядок, как и в комнате, и так же пахло прокисшим шампанским. Нелли собирала в пластиковый пакет из продовольственной «Березки» разную еду – две коробки зефира в шоколаде, батон сервелата, булку хлеба и несколько банок пива.

– Это морячкам, – сказала она Люсе. – Пусть согреются. Этот, который на полу рыдал...

– Вадим, – сказала Люся.

– Точно, Вадим. Что-то в нем есть трогательное, светлое.

Люся пожала плечами.

Нелли положила в пакет оба пистолета, взвесила в руке фигуру великого шахматиста и поставила ее на холодильник.

– Пусть на память останется, – сказала она, открывая окно.

В кухню – точь-в-точь как полчаса назад в салон автобуса – ворвались густые клубы пара. Далеко внизу зеленой елочной игрушкой поблескивал автобус, а рядом на снегу покачивались две долгих тени. Нелли кинула пакет – тот полетел, уменьшаясь, вниз и шлепнулся на заснеженном прямоугольнике газона. И сразу к нему кинулись чёрные фигурки.

Нелли торопливо закрыла окно и поежилась.

– Я бы в них кирпичом кинула, – сказала Люся.

– Ничего, – сказала Нелли, – так им обиднее будет. Хочешь чаю?

– Лучше б выпить, – сказала Люся.

– Тогда пошли в комнату и этого возьмем, железного... У меня «Ванька-бегунок» есть, полбутылки.

Люся не поняла сначала, а потом вспомнила: так в кругах, близких к продовольственной «Березке» на Дорогомилловской, назывался «Джонни Уокер» – по слухам, любимый напиток покойного товарища Андропова. Господи, подумала вдруг Люся, ведь как недавно все это было – метель на Калининском, битва за дисциплину, нежное лицо американской пионерки на телеэкране, косая синяя подпись «Андроп» под печатным текстом ответа... И что шепчет сейчас суровый его дух нежной душе Саманты Смит, так ненадолго его пережившей? Как мимолетна жизнь, как бремен человек...

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)